



Юрий Маркович Нагибин родился в Москве в 1920 году. Учился во ВГИКе, с третьего курса учился добровольцем на фронт. Сначала воевал на Волховском и Борокском фронтах, потом был военным корреспондентом. Во время войны был принят заочно в Союз писателей. В послевоенные годы был на журналистской работе. С 1953 года он — профессиональный писатель. Автор более пятидесяти книг, около тридцати сценариев. Среди них «Председатель», «Бабье царство», «Директор», «Дерсу Узала». Произведения Юрия Нагибина переводились на языки народов СССР и многие языки мира. Писатель работает в основном в жанре рассказа. Книгу «Вечные спутники» Нагибин считает своей основой. Это произведение — писателя, поэта, композитора, деятеля искусства, встречи с которыми оставляют неизгладимый след в душе.

Сегодня мы публикуем несколько глав из большой работы о Сергее Яковлевиче Лемешеве. На днях в Москве открыта мемориальная доска великому артисту.

ЗА СОЛЬЮ

Эта поездка осталась в его памяти на всю жизнь. И не только в памяти — в бронхах. Тогда он отморозил грудь. А перед этим впервые в жизни попал в оперу. На «Демона». Не в Большой, а в какой-то другой, маленький театр. Правда, он был так потрясен, что почти ничего не видел и не слышал. Он очнулся, когда ангел уносил на небо душу прощенной Тамары. Ничего больше не запомнилось, долгое время он верил, что это самое лучшее место в опере.

Его взяла в Москву, где он сроду не бывал, Евгения Николаевна Квашнина, жена инженера-архитектора. Чета Квашниных устроила у себя на хуторе под Старым Князем художественную школу-мастерскую для сельских ребят. Здесь звучала музыка, и певучий подласок Сергей научился петь под рояль. Квашнины находили у семнадцатилетнего юноши талант и советовали поступить в музыкальное училище. Сам Лемешев впоследствии называл дом Квашниных своим первым университетом.

Мать поручила Сергею обменять на Сухаревском рынке бутылку сула на соль. Шел лихой и голодный девятнадцатый год, но хуже голода было отсутствие соли. Это только в стихах можно подсаживать тюрю слезами, в жизни не получается.

Сергей натянул старый отцовский пиджак и порыжевшее пальто; заботливая Евгения Николаевна дала ему лисью горжетку, которую он пришил поверх воротника; от валенок бе наотрез отказался и отправился в опорках, которые в простоте душевной считал башмаками. Он чувствовал себя милым и нарядным, гордился материнским доверием и был исполнен самых радужных надежд.

До Москвы домчались — он и не заметил, ехали-то по чужбине. Город ошеломил, ударил по непривычным ушам шумом, по глазам, воспитанным пустотой тверского приволья. В многолюдном и пестром (для москвичей же город был по-прежнему тих и по лихолетью заброшен). Ну, а Сухарева с ее толпой, горластыми продавцами и меняльщиками, нищими, калекми, игроками в веревочку и зерны совсем закружила ему голову; если б не опытная столычная жительница Квашнина, пропал бы ни за грош князевский певун и гроза девок. Но Евгения Николаевна была на страже и благополучно провела своего подопечного сквозь все угрозы и соблазны Сухарева, помогла обменять суло на серую крупную соль, которую он, загнурив в старую наволочку, спрятал под пиджак.

А потом был «Демон» и временная утрата сознания и возвращение к себе под умыканье на небо освобожденной души Тамары.

Ночевали в какой-то пустой квартире на Якиманке. Евгения Николаевна легла на диване, укрывшись шубейкой, а Лемешев на давно оставшей пекче-самодельке под своим пальто с горжеткой. Утром оба так настыли, что не могли слова молвить и ног не чуяли.

С трудом добрались до вокзала, залезли в вагон с буржуйкой посередине, пригнувшись к ее теплу и сразу заснули. Квашнина без сна, встал, а на Сергея опрокинулся вся Сухарева вперемежку с «Демоном». Волный сын эмира со сросшимися черными бровями предлагал обменять Тамару на суло, и Сергей эта мена вполне устраивала, но он помнил, что строгая мать наказывала привести

соль, а не девицу, ворочался и стонал. В спор вмешался князь Сенодрал, предлагая разыграть в зернь соль, Тамару и суло. Лемешев боялся, что его обманут, известно, какие князья на Сухаревке, тогда на него накинудили, стали бить, толкать. Он вскрикнул и открыл глаза: Евгения Николаевна трясла его за плечо — Тверь, им сходить. А сон оказался в руке: не было ни Тамары, ни соли, ни горжетки — поездные мазурики обчистили спящего паренка.

Утешая бедного растпу, Квашнина отсыпала ему солцы в тряпочку, но разве это в сравнении с тем плотным кулечком, который грел ему тело за пазухой? Когда добрались до родных мест, мороз завернул еще круче. Прежде чем свернуть к своему хутору, Евгения Николаевна спросила: «Зайдешь погреться?», но расставленный коммерсант только мотнул головой и, пригнувшись, зашагал против ветра.

Никогда еще не было ему так худо. Ведь он ездил не просто за солью. Многие в деревне неодобрительно относились к его частому гостеванию у Квашниных. Сочувствовали Акулине Сергеевне: не нашла, мол, подмогои в старшем сыне — лоботряс расет, горлодер и неумеха. Акулина Сергеевна не оставалась глухой к ядовитым соблазнам — жалостную укоризну читал Сергей во взгляде матери. Он многое связывал с поездкой в

нул вперед, по-крестьянски сильной руке Лемешев было его не удержать. Во дворе постоянно толкались поклонники, с насмешливым сочувствием следили они за тщетными потугами кумира удержать рвущегося в пампасы мустанта. Пришлось купить плетку. Пес был дьявольски самолюбив: стоило шевельнуть плетью, он сразу смирялся, поджимал зад, сжимая на хозяина яростно-укоризненный зрачок. Да, все это мало походило на ту возвышенную дружбу, о которой мечтал Лемешев.

Во время обеда Джой находился в столовой, но не кланчил со стола. Он сидел прямо, как столбик, и с угрюмой сосредоточенностью следил за едоками. Однажды Лемешев, который не мог одолеть тарелки супа, набрал в ложку красноватой свекольной жидкости и предложил Джюю. Пес подошел, понюхал и приоткрыл чистую розовую пасть. Лемешев осторожно перебрал туда суп, Джой хлопнул и слотнул. Лемешев дал ему еще ложку и еще. Серьезно и опрятно Джой доел суп, облился острым и быстрым, как жало, языком, и холодные янтарные глаза его потеплели.

Так возник ритуал. Вскоре не оставалось сомнений, что пес выбрал себе хозяина. Домашние ревниво упрекали Лемешеву, что тот подкупил Джюю. Но они сами понимали: дело не в трех-четырех ложках остывшего супа, а в добром же-

но без злобы, весело, по братски. И мутноватое чувство, похожее на стыд, ворочалось около сердца.

К столу Джой больше не подходил. Лежал в прихожей на подстилке, положив узкую морду на передние лапы и вглядываясь куда-то вдаль, где ему, наверное, брезжили собачья площадка и приятный человек — дрессировщик.

Как-то раз Лемешев тихонько позвал: — Джой!..

Пес не отозвался, но одно ухо его напрягло. После очередного призыва он медленно поднялся и тяжело, словно подгагрик, пошел к столу.

— Одну ложечку, Джой! — попросил Лемешев.

Вечером они пошли на прогулку. Едва за ними захлопнулась тугая дверь черного хода, произошло нечто странное, чему Лемешев не сразу нашел объяснение. Его рвануло, подбросило вверх, шапка с бобрим околышем слетела с головы и навек затерялась в сугробах, затем было бешеное мельканье фигур, лиц, неоновых огней, троллейбусов, автобусов, автомашин, сигналы, свистки, крики...

Очнувшись Лемешев на заснеженной скамейке Тверского бульвара. Джой стоял рядом, положив ему на колени морду, и влюбленно глядел своими янтарными глазами, сейчас отблескивающими зеленым. И это было счастьем.

когруд, плечист, с крепкой рукой. Одно дело попеть на призыв после работы или в праздник за столом, другое — зарабатывать горлом на жизнь. Всеветная слава сына ее не прельщала, что не мешало горячей материнской любви с легкой примесью сострадания.

Жизненный путь Алексея казался ей правее и надежнее: он был на хорошем счету в колхозе, член правления, каждый год получал похвальные грамоты — на них уже и стен в доме не хватало. К сожалению, наследственным в семье Лемешевых был не только голос, но и плохие легкие. И однажды Акулина Сергеевна сказала при старшем сыне, прислушиваясь к влажному кашлю за стенкой: «Надо бы Алексею полечить работу сыскать. Нельзя ему так надрыгаться». Сергей Яковлевич понял, чего от него ждуг.

...Дебютировать Алексей должен был в «Князе Игоре». Он изображал одного из ратников княжеской дружины.

— Ничего не бойся, — убеждал его за обедом, в день спектакля, старший брат. — Я буду рядом. Стой прямо, сжимай бердыш и не верти головой. Ты — воин, идущий в поход с любимым князем, ты веришь в победу...

— Нам все это объясняли, — перебил ратник и потянулся за графинчиком. — Зачем мочало жевать?

— Мне кажется, что ты волнуешься. Совершенно напрасно. — Но из них двоих

полки Игоря покидают Путивль. Думали, что певец, обладавший незаурядным драматическим дарованием, нашел новые краски для порядка замгранной роли. Княжич смятенно провидел трагическую неудачу похода на половцев. Даже самые ушные не связали тревоги княжича с поведением ратника, стоявшего в заднем ряду боевой дружины.

А тревожиться было чего: ратник засыпал в строю; голова его клонилась ниже и ниже, остроконечный шлем сдвинулся на нос и грозил свалиться с буйной головы. Хорошо, что стоящие рядом кметы были начеку и тумачами в бока привели в чувство задремавшего воина.

«Может, обойдется?» — с тоской думал Владимир Игоревич. Не обошлось. Воин, правда, перестал клявть носом, он оперся о бердыш, закрыл глаза и уснул. Во сне он громко всхрипнул. Два сильных тычка в ребра согнали сон, он вздрогнул, открыл глаза, и ему предстало грозное диво: черный диск напылал на розовое солнце, неурочная тьма спускалась на землю — конец света...

Алексей забыл, что находится на сцене, и он никогда не видел солнечного затмения. С перепугу он выронил бердыш, который, хватив по плечу стоящего впереди воина, грохнулся о землю.

Он ушел домой сразу после пролога — его не удерживали.

...Браты сидели за поздним ужином.

Отменить премьеру? Это дезертирство. Но разве людям сейчас до оперы? Билеты распроданы, никто не возражает их в кассу, возле которой, несмотря на объявление об аншлаге, терпеливо переминается толпа. Экзамен на стойкость начался, артисты — часть народа, с сегоднешнего дня воюющего народа.

Премьера состоялась. Выхода раскланиваться, Лемешев видел много стриженных под машинку голов. Это мальчишки призывного возраста сняли свои роскошные зачесы, не ожидая повесток из райвоенкоматов. Круглые полудетские затылки заставили по-другому увидеть зал: его наполняли воины, для многих из них сегодняшний спектакль — последняя встреча с радостью.

Лемешев низко, до земли поклонился своим согражданам — жатве беспощадной войны, которая унесет столько юных влюбленных Ромео, обездолит столько не прикоснувшихся к брачному ложу Джульетт.

СОЛОВЬИ

В сумерках они слушали соловьев. Было странно, что соловьи еще поют в Серебряном бору. Березовый, сосновый, сиреневый пригород стал частью Москвы. Городское пробивалось в его травяную, древесную свежесть тяжким смрадом выхлопных газов дизельных автобусов и тяжелых грузовиков; безостановочный поток гудящих, режущих машин растерзал благодатную надручную тишину; тем поздних вечеров проблескивали жесткие вспышки электрических троллейбусных зарниц, квадратными лунами загорались окна домов-башен. Но те, кто привык ездить в небольшой уютный, хотя лишенный современных преимуществ дом отдыха Большого театра, изо всех сил старались не замечать вторжения цивилизации, черпая радость в том, что еще оставалось от природы: в бормоте листьев, сыром лиственным речном запахе, серебре росных улит, густом цветочном настое вечера и соловьином пении.

И вот они слушали соловьев. К двум неутомимым певцам присоединился был третий, но вскоре смолк. Наверное, то был молодой начинающий соловей, и он понял, что не смеет состязаться с мастерами. Два соловья из двух противоположных углов сада, не заметив короткой помехи, продолжали беззастенчивый поединок. Бой был звонче у соловья за сиренями и дробь рассыпчатей; тот же, что скрывался в ракитнике, превосходил соперника в долгих коленях: переливе, прищелке, лешего дудке... Но даже сдобравшись здесь музыкальным профессионалам вскоре расхотелось сравнивать певцов, лучше было, не мудрствуя, отдаться очарованию вечной, как мир, песни любви.

Соловьи замолкли враз, словно исчерпав аргументы. Была пронзительная тишина, а потом Лемешев сказал с легким вздохом:

— Соловьи стали хуже петь.

Все рассмеялись. Остроту создало сплетение парадоксального утверждения с интонацией истинной глупости. Но потом случилась заминка — Лемешев и не думал шутить. Он был здесь, впрочем, как и в любой компании, самым знаменитым, самым любимым и чтимым, его настроение считались. Смех умолк, погасли улыбки. Все же присутствующие были достаточно значительны и независимы, чтобы не подчиняться чуждому мнению. Бывший премьер оперетты сказал: «В молодости все лучше: и соловьи звонче, и звезды ярче, и женщины красивей». А маститый концертмейстер добавил: «И дни длиннее, а версты короче». Ближайший друг Лемешева, прославленный дирижер сказал задумчиво: «Портится не окружающее, а мы сами — от лет, усталости, ослабления чувств жизни. Одно тебя, Сережа, неизбежное обошло стороной. Как странно, что именно ты сказал это о соловьях». «Друзья! — воскликнула пожилая певица — Мы не поняли иносказанья. Сергей Яковлевич имел в виду друзей соловьев, они, в самом деле, поют хуже, чем мы когда-то». «Зачем уж так уж?» — вскинулся на защиту сверстников молодой даровитый композитор.

— Нет, — чуть поморщился Лемешев. — Я говорил о соловьях, которые только что пели. Они не силали, как соловьи наших дней...

А через два дня с утра зарядил дождь. Сидели по комнатам, читали, слушали радио. И в передаче «Наедине с природой» профессор-орнитолог сказал, что сейчас, когда город стремительно наступает на природу, соловьи стали петь хуже. И проиллюстрировал это записями на пленке.

Среди тех, кто слушал соловьев в вечернем саду, были: прославленный дирижер, талантливый композитор, бывший премьер оперетты, певица, маститый концертмейстер, но лишь безошибочный соловьиный слух старого соловья распознал в весенних трелях соловьиную беду.

ОН МЕЖДУ НАМИ

Москву: хотелось доказать, что он только

вый и полезный человек, опора в превратной судьбе, а убрал помощь Квашниных подняла бы их в глазах деревенских. А что получилось — щепотка солцы за бутылку сула — стоило в Москву гонять! Правы одосельчане: ничемушый он человек! От горестных мыслей слабее и становился легкой добычей всяких напастей. Холод, мозжащий ему кости на всем пути от Твери до Князера, вдруг хлынул внутри и погасил в нем всякую жизнь. Сергей свалился в снег возле родного порога. Когда его нашли, он совсем окоченел, насили оттерли.

Больше месяца провалялся он на печи под двумя тулупами. Приходила Квашнина и ставила ему банки на спину — махотки, в которых полыхал огонь, обжигавший кожу. Уже поднявшись, он долго кашлял, хватаясь за грудь, потом на слабых ногах потащился к Квашниным. Словом, оклемался. Ан не оклемался. Аукнулось в грозном девятнадцатом, в отключилось в грозном сорок первом — процесс в легких. Врачи настаивали на пневмотораксе. Он долго играл с этим словом, подыскивая схожее, наконец, нашел: археоптерикс. Пневмоторакс — родич археоптерикса, доисторическое животное, дотлавое чудовище задушит его.

Война придала ему мучения. Он остался на сцене с одним-единственным: никому не удалось поколебать его трон. Величайший триумф сценической жизни Лемешева (Ромео) пришел к нему после болезни. Он вырвал из груди чудовище, его чудовище. Пневмоторакс снял.

ДЖОИ

Лемешев жалел, что не видел Джюю щенком-молочником — самая милая порода собачьей жизни, — его взяли в дом полугодовалым. Если по жеребачьему возрасту, Джой мог считаться стригунком, и Лемешев опасался, что он не привяжется к дому. А тут еще подошли гастроли, Лемешев уехал на целый месяц, и Джюю предстояло обживаться без него. Вернувшись, Лемешев нашел уже не «стригунка», а вполне сформировавшегося, с ярко выраженными признаками породы юного аристократа. Джой был шоколадного цвета доберман-пинчер с кремовыми подпалинами, длинной узкой мордой, ушами торпиком, сильной грудью и мускулистыми ногами. То была первая собака в жизни Лемешева, если не считать блохастых ласковых деревенских шавок, готовых признать хозяином любого, кто бросит кусок или хотя бы не прогонит прочь, и ему ужасно хотелось, чтобы Джой стал родной душой, верным другом, все понимающим собеседником. Но похоже, что время для завоевания собачьего сердца уже миновало, и Лемешев грустно, со стороны любовался стройным, гибким красавцем с янтарными холодными глазами. Выгуливание пса отнюдь не способствовало сближению. Джой испуганно тя-



Сергей Яковлевич Лемешев.

сте, на который откликнулось сердце. Лемешев был уверен, что Джой — это счастье, опора в превратной судьбе, а убрал помощь Квашниных подняла бы их в глазах деревенских. А что получилось — щепотка солцы за бутылку сула — стоило в Москву гонять! Правы одосельчане: ничемушый он человек! От горестных мыслей слабее и становился легкой добычей всяких напастей. Холод, мозжащий ему кости на всем пути от Твери до Князера, вдруг хлынул внутри и погасил в нем всякую жизнь. Сергей свалился в снег возле родного порога. Когда его нашли, он совсем окоченел, насили оттерли.

Больше месяца провалялся он на печи под двумя тулупами. Приходила Квашнина и ставила ему банки на спину — махотки, в которых полыхал огонь, обжигавший кожу. Уже поднявшись, он долго кашлял, хватаясь за грудь, потом на слабых ногах потащился к Квашниным. Словом, оклемался. Ан не оклемался. Аукнулось в грозном девятнадцатом, в отключилось в грозном сорок первом — процесс в легких. Врачи настаивали на пневмотораксе. Он долго играл с этим словом, подыскивая схожее, наконец, нашел: археоптерикс. Пневмоторакс — родич археоптерикса, доисторическое животное, дотлавое чудовище задушит его.

Война придала ему мучения. Он остался на сцене с одним-единственным: никому не удалось поколебать его трон. Величайший триумф сценической жизни Лемешева (Ромео) пришел к нему после болезни. Он вырвал из груди чудовище, его чудовище. Пневмоторакс снял.

Лемешев жалел, что не видел Джюю щенком-молочником — самая милая порода собачьей жизни, — его взяли в дом полугодовалым. Если по жеребачьему возрасту, Джой мог считаться стригунком, и Лемешев опасался, что он не привяжется к дому. А тут еще подошли гастроли, Лемешев уехал на целый месяц, и Джюю предстояло обживаться без него. Вернувшись, Лемешев нашел уже не «стригунка», а вполне сформировавшегося, с ярко выраженными признаками породы юного аристократа. Джой был шоколадного цвета доберман-пинчер с кремовыми подпалинами, длинной узкой мордой, ушами торпиком, сильной грудью и мускулистыми ногами. То была первая собака в жизни Лемешева, если не считать блохастых ласковых деревенских шавок, готовых признать хозяином любого, кто бросит кусок или хотя бы не прогонит прочь, и ему ужасно хотелось, чтобы Джой стал родной душой, верным другом, все понимающим собеседником. Но похоже, что время для завоевания собачьего сердца уже миновало, и Лемешев грустно, со стороны любовался стройным, гибким красавцем с янтарными холодными глазами. Выгуливание пса отнюдь не способствовало сближению. Джой испуганно тя-

— Ты прости, Джой, за всю эту муть, — сказал Лемешев. — Нечистый попутал.

— Плюнь, Сережа, — ответил Джой!..

Был ли в русской литературе хоть один рассказ о животных — собаках, лошадях — со счастливым концом? Что-то не припомню. А почему так — кто его знает! Может, в климате дело?.. Не являет исключения и рассказ о собаке Лемешева.

Свой отпуск Лемешев обычно проводил в родной деревне Старое Князево. Джой он брал с собой. Однажды в разгар лета ему пришлось выехать на гастроли. Джой он оставил на попечение матери и брата. Да какое в деревне попечение? И мать, и брат день-денской в поле, а пес бесится на свободе в свое удовольствие. То ли он и впрямь пугал телят, поросят, кур — иные неслись перестали, и его «стрелили», то ли у кого-то разгорелся глаза на коричневою лоснящуюся шкуру (зимняя шапка — мечта!) и его ободрали, но Лемешев больше не видел своего друга.

ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Лемешев вышел из певучей семьи. Хороший голос был у его матери Акулины Сергеевны, и когда Лемешев приезжал на лето в родную деревню Старое Князево, они с матерью что ни вечер пелили на завалинке. Часто к ним присоединялась тетя Лемешева по отцу Аниса, обладательница редкого по силе и красоте голоса. Сложилось иначе жизнь, Аниса стала бы большой певицей. Отнюдь не томясь мыслями о несостоявшейся артистической карьере, Аниса до глубокой старости работала в колхозе и до глубокой старости пела. Звонкологич и музыкален был младший брат Алексей, но по застенчивости и самолюбию никогда не пел в присутствии брата-артиста, даже в застольном хоре не участвовал.

Лемешева мучила мысль, что брат прошел мимо своей настоящей судьбы. Алексей наведывался в Москву, но заставлял его прослушаться у преподавателя музыки или просто знакомого певца было невозможно. Наконец Лемешев разрабтал хитрый, как ему казалось, план: вытолкнуть брата на сцену хотя бы в составе мимаса. Если есть у него артистическая жилка — непременно дрогнет, дальше станет куда проще.

Было еще одно. Мать никогда ни о чем не просила своего прославленного сына: лишь однажды, с огромным трудом удалось вытащить ее в Большой театр на «Онегина». «Наш, конечно, лучше всех», — спокойно говорила Акулина Сергеевна после спектакля, но озорзанные в ней не ощущались в глубине души она считала пение со сцены занятием не только легким для нормально-го мужика, а сын ее Сергей был широ-



В. Соловьев-Седой, С. Лемешев, А. Фатянов. 1943 год.

солист Большого театра волновался куда больше. — Погоди, я выпью с тобой рюмочку. За успех пить не положено. Давай — за нашу мать!

— Поехали! — Алексей опрокинул в рот рюмку, понюхал корочку, подумал и налил еще.

— Не много ли? — встревожился Сергей Яковлевич. — Мне ведь Владимира Игоревича петь.

— А я тебя не неволю, — рассудительно сказал меньшой. — Тебе петь, мне стоять, но ты привычный, а мне для куражу требуется.

— Ну, если для куражу!..

— Поехали!..

....

— Ты, главное, не волнуись, — сказал старший Лемешев через некоторое время.

— А чего волноваться-то? — свободнее отозвался ратник. — Поехали!..

— Мне хватит. Хотя ария у меня во втором действии.

— Тебе хватит. А простому воину положено перед боем.

....

— Смотри-ка, — сказал Владимир Игоревич, — а графинчик-то пустой. Только что был полный, а сейчас пустой.

— Что теперь будем делать? — спросил Сергей Яковлевич.

— Жить дальше, — спокойно отозвался Алексей. — У нас уже и сенокосу готовятся. При такой погоде через недельку начнем.

— ?!..

— Не переживай, Сережа. Петь в опере я опоздал, молчать — не хочу. А матери не бойся. Давай-ка плеснем на сердце...

ПРЕМЬЕРА

На заре своей артистической карьеры Лемешев мечтал о двух ролях: Ленском и Ромео. Собственно, о Ленском он даже не успел размечтаться, спев эту партию сразу по окончании консерватории на сцене оперной студии Станиславского. Правда, полной радости от своего дебюта он не испытал: оперная режиссура К. С. Станиславского, стремившегося приблизить оперу к житейскому правдоподобию, стесняла певца, зато уроки великого режиссера, работавшего с ним над образом юноши-поэта, остались на всю жизнь. О Ромео же он мечтал до самого 1941 года, когда мелодичная опера Шарля Гуно была наконец поставлена на сцене Филали Большого театра.

Премьеру назначили на 22 июня. Но как пелось в неурочной и щемящей песне: Двадцать второго июня, Ровно в четыре утра Киев бомбили, маму убили, Так началась война...